

Денис Пожидаев

Я ПОМНЮ, КАК ТЕБЯ ХОРОНИЛИ

СВИДЕТЕЛИ ПОРОГА

18+

Денис Пожидаев

Я помню, как тебя хоронили

<https://litres.ru/74566043>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ворон помнит то, что произошло. Для него время не спорит, смерть не меняет даты, а увиденный факт остаётся фактом спустя десятилетия. Но что, если безошибочная память всё же привела к неверному выводу? Старое дело снова требует ответа, и теперь одного свидетельства недостаточно. Мистическая повесть о смерти и имени, о границе между знанием и толкованием — и о том, почему даже точная правда может стать основанием большой ошибки.

Содержание

Часть первая. Уже умерла	4
Глава первая. После Змеи	4
Глава вторая. Женщина после собственной смерти	14
Глава третья. Ты уже умерла	21
Глава четвёртая. Могила живой	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Денис Пожидаев

Я помню, как тебя хоронили

Часть первая. Уже умерла

Глава первая. После Змеи

Я помню, как её хоронили. Поэтому, когда она вошла во двор сама, я сперва решил, что из нас двоих ошиблось время.

Обычно ошибаюсь не я. Я вижу концы. Не всё будущее — концы: где что кончится, где уже кончилось, где кончится, если никто не вмешается. Люди думают, будто это дар предсказания. Это не предсказание. Предсказание глядит вперёд и гадает. Я гляжу назад и вперёд разом и вижу, где стоит последняя черта. У всякого живого она где-то есть — далеко ли, близко, — и всякое живое несёт её впереди себя, как несут фонарь в темноте: свет чуть впереди шага. Идёт человек, а перед ним, в нескольких годах или в нескольких вздохах, лежит его край, и человек идёт на этот свет, не зная, что идёт. У неё край был не впереди. У неё край лежал позади.

Но об этом после. Сначала — о доме, потому что за шесть

недель дом стал другим, и, чтобы понять, что случилось с женщиной, надо понять, что случилось с нами. Мы были дому не жильцы, а части; когда ломается часть, видно по целому.

Шесть недель прошло с той ночи, когда Пёс не назвал Девочку. Я считаю не неделями — я плохо считаю то, что тянется ровно; я считаю концами, а с той ночи ни один из нас не кончился, и оттого время для меня шло смазанно, как идёт оно для тех, у кого ничего не завершается. Шесть недель — это Кот сказал. Он теперь считает вслух чаще прежнего: дни, шаги, брёвна, — будто боится потерять счёт всему, раз мы потеряли счёт себе. Я думаю, он считает, чтобы не думать. У каждого из нас после той ночи завелось своё такое дело: у Кота — счёт, у Пса — обход, у Жабы — чужие хвори, у меня — край седьмой комнаты. Дела, которыми затыкают дыру. Змеи не было.

Это первое, что чувствует всякий, кто входит в наш двор, хоть и не всякий понимает, что чувствует. Раньше у нижнего венца, у Псовой щели, было тепло — ровное, долгое, змеиное; она грелась там век, и щель дышала. Дом об эту щель грелся сам, как греется человек о лежащую рядом собаку. Теперь щель холодна и сведена. Дом свёл над ней брёвна в ту ночь и не развёл обратно, и я, сидя высоко, вижу это место сверху как тёмное пятно, где ничего не начинается и не кончается, потому что там уже кончилось всё, что могло. Змея не умерла так, чтобы я увидел конец. Её конца я не увидел вовсе — па-

мять её ушла в Ягу, а память не то, за чем я смотрю; я смотрю за смертью, а смерть Змеи прошла мимо меня стороной. Это до сих пор саднит — тихо, как саднит зуб, которого уже нет, а место помнит.

Пёс лежал под крыльцом, на своём холодном месте. Оно теперь всегда холодное — с той ночи, как он переступил порог и вышел обратно. Он не входит в дом, хотя дверь ему открыта, хотя ступени его пускают, хотя Яга сняла запрет в ту же ночь и не вернула его. Он выходит на утренний обход, возвращается, ложится мордой к глухой стене, за которой к утру после той ночи выросла седьмая комната, и смотрит на неё. Каждое утро он меряет её шагами — идёт вдоль наружной стены и считает, — и каждое утро она та же, длиннее прочих на одну комнату без двери. Он всё равно меряет. Я думаю, он ждёт, что однажды намеряет другое. Пока не намерял.

Кот держался отдельно. Он и раньше держался отдельно, но по-кошачьи, напоказ, чтобы к нему шли. Теперь — всерьёз. Он не проходит вплотную к Псу. Когда ему надо мимо, он обходит Пса широкой дугой, и Пёс это видит, и оба делают вид, что так и надо, что дуга случайна. Между ними лежит та ночь, и обойти её можно только телом, обойдя друг друга. Договор — ту старую свёрнутую кожу с именами — Кот таскает за собой и разворачивает в тёмных углах, водит когтем по строкам, шепчет слова, которых я не разбираю. Он ищет в договоре, где записано, кому что принадлежит. Он теперь

ненавидит это слово, «принадлежит», и всё равно возвращается к нему, как язык возвращается к больному зубу.

Жаба проверяла Ягу.

Это тоже было ново. Раньше Жаба не посмела бы. Яга — не тело, которое слушают; Яга — та, кто решает, чьё тело слушать. А в то утро Жаба сидела у её ног, приложив лапу к её щиколотке, и слушала, как ходит в ней кровь, — не спросив. И Яга не отняла ноги. По этому одному можно было понять, что старый порядок сломан: не по большим словам, а по тому, что Жаба слушает Ягу без спроса, а Яга терпит; что тот, кто век назначал, кого слушать, стал теперь тем, кого слушают, не спрашивая.

Яга работала. Она всегда работала — тем и держится Порог, что кто-то у него всегда при деле. Но говорила теперь иначе. Раньше она роняла вердикт, и вердикт становился законом двора: сказала — и так. Теперь она чаще останавливается перед вердиктом. Скажет половину — и замолчит. Или обернётся и спросит:

— Ворон?

И ждёт. Раньше не ждала. Раньше ей не нужно было моё «было» — ей довольно было её «будет так». Теперь спрашивает. Я не сразу понял, что это. Потом понял: она носит в себе память Змеи, а память Змеи всю их общую жизнь была тем, что Яге возражало. Яга привыкла, что рядом есть кто-то, кто скажет «нет». Этого кого-то больше нет отдельно — есть только память о нём, а память не спорит, память мол-

чит. И Яга стала спрашивать нас, будто ищет вовне то возмражение, которое раньше приходило само, изнутри, шипящим голосом у самого уха.

Я сидел на крыше, ближе к краю, чем сидел прежде.

Раньше я сидел над коньком, в середине, откуда виден весь двор, и вся ограда, и все концы разом. Оттуда удобно служить: смотришь на всё и видишь, у чего когда край. Теперь я перебрался к самому краю, к той стороне, под которой седьмая комната. Не знаю зачем. Знаю только, что оттуда я смотрел на её глухую стену и не видел ничего. Я вижу концы всего дома — конец каждого бревна, конец печи, конец половицы, тот далёкий день, когда всё это осядет и вернётся в землю; дом для меня всегда чуть-чуть уже умер, я вижу его смерть сквозь его жизнь, и это не мешает мне его любить. За стеной седьмой комнаты я не видел конца. Не «вечность» — я не умею видеть вечность, это слово не моё, слишком широкое. Просто там не было записанного конца, как бывает пустой строка, где ещё не поставили дату. Дом отрастил комнату, у которой нет конца, и я садился к её краю, и смотрел в это отсутствие, и оно меня притягивало — как притягивает край всякого, кто устал видеть черту у всего живого. Я насмотрелся концов за пять веков. А тут был не конец. Тут было место, где реестр кончается, а что-то — нет. Я сам не знал тогда, что это станет важнее всего дела с женщиной. Тогда это была просто стена, к которой тянуло.

Так мы жили те шесть недель. Никто не выл. Никто не ми-

рился. Каждый носил своё по своим углам, и я думал, что так теперь и будет — тихо, порознь, до самого конца, который я всем нам однажды увижу. Семья, что была домом, стала общежитием теней одного дома. И я привык уже к мысли, что дальше только это.

А потом на лесной дороге я увидел контур.

Дорога к нам одна — старая тропа через мёртвое кольцо, и по ней редко идут своей волей; чаще их приводит нужда, какой не помогли нигде. Я увидел двоих — ещё далеко, за деревьями, там, где тропа выходит из леса на нашу поляну. Две женщины. Одна старше, одна моложе; старшая опиралась на младшую, шла тяжело, часто останавливалась, и на каждой остановке младшая ждала, не торопя. Живые. Обе живые — я слышу живое по тому, что у него край впереди. У младшей край был впереди, далеко, ровно, как положено здоровой женщине в её годы: где-то за многими зимами, спокойный, ненаступивший. Всё как у людей.

У старшей край был позади.

Я не сразу поверил себе — а я привык себе верить, в этом, как выяснится, вся моя беда. Край не бывает позади. Край — это конец, а конец не может уже пройти у того, кто идёт по дороге и опирается на дочь и часто останавливается перевести дух. Я снялся с конька и перелетел ближе, на сухую сосну у самой межи, и посмотрел снова, внимательнее, как смотрят на то, чего не должно быть и что всё-таки есть.

Старшая женщина шла — а её конец лежал за её спиной,

на дороге, позади, в нескольких шагах. Не догонял её. Не ждал впереди, как ждёт у всех. Лежал сзади, старый, осевший, заросший, как лежит могила, мимо которой прошли и забыли дорогу. Она несла свой конец не впереди, как несут фонарь, а тащила за собой, как тащат на верёвке то, что давно должны были оставить и не оставили. И конец этот был мне знаком. Я знаю все концы, что прошли через наш Порог за мою службу, — их тысячи, я не помню имён, имена не моё дело, но концы помню, как псарь помнит своих псов, каждого по стати. Этот конец я помнил. Дождь. Мокрая кладбищенская земля. Закрытый гроб. Мать под дождём. Горсть земли. Я помнил его завершённым — давно, целиком, до последней горсти, до той минуты, когда смерть признали окончательной и я отвёл глаза, потому что дело было сделано.

Они дошли до ворот. Младшая помогла старшей у самого мёртвого кольца — живое чует кольцо и не любит его, но эти прошли, потому что вела их нужда, а нужда сильнее чутья.

Младшая крикнула — обычным человеческим голосом, каким кричат у чужого забора, не зная, есть ли кто:

— Есть кто? Нам сказали, здесь могут... — Она запнулась, не находя, как назвать то, за чем пришла к избе на курьих ногах. — Здесь могут помочь. С тем, чего врачи не могут.

Пёс поднялся из-под крыльца — медленно, он теперь всё делает медленно. Кот сел на столбе. Жаба отняла лапу от Ягиной ноги. Яга встала в дверях — и не сказала обычного,

чем встречает пришедших, того короткого, чем прежде решала, гость ты или добыча. Промолчала, глядя на старшую, и в молчании её я услышал, как в ней шевельнулась чужая память.

Старшая женщина отпустила локоть дочери, выпрямилась, сколько могла, — а могла немного, — и назвалась сама. Прямо, устало, без просьбы в голосе, как называют себя те, кому надоело объяснять, кто они, и доказывать, что они вообще есть:

— Вера Андреевна Лебедева.

Имя дошло до меня раньше лица. Я узнаю концы, а не лица; но имя, произнесённое над завершённым концом, я узнаю тоже, потому что имя когда-то стояло над той самой могилой, что лежала теперь у неё за спиной. Я услышал «Вера Андреевна Лебедева» — и вспомнил, как это имя произносили в последний раз. Его произнесла женщина под дождём, у ямы, немолодая, с серым от горя лицом; она бросила горсть земли и сказала это имя, и священник закрыл черёд, и тогдашняя Яга закрыла смерть, и я был при этом, и видел своими глазами, как конец стал окончательным. Тридцать семь лет назад. Я помнил дождь так, будто он шёл вчера. Я помнил, что имя было сказано и принято, и смерть под этим именем улеглась.

Я слетел с сосны на прясло ограды, ближе к ней, чтобы видеть наверное. И сказал — вслух, не собираясь говорить; само сказалось, потому что есть вещи, которые надо произ-

нести, чтобы поверить, что видишь их наяву:

— Я помню, как её хоронили.

Дочь дёрнулась, будто я её ударил. Она не сразу поняла, что говорит птица; потом поняла — и не удивилась, ей было не до говорящих птиц, слишком много было на матери, всё её удивление ушло на мать много раньше. Она открыла рот — заступиться, прогнать, я не знаю, — но мать её опередила.

Вера Андреевна посмотрела на меня снизу вверх. Без страха. Без того благоговения, какое бывает у людей перед нашим двором, когда до них доходит, куда они пришли. С той же усталой прямою, с какой называла своё имя.

— Значит, — сказала она, — похоронили плохо.

И закашлялась, и вытерла с губ что-то тёмное краем платка, и оперлась снова на дочь, и дочь приняла её вес привычно, всем телом, как принимают то, что носят давно.

Я спустился ниже — на нижнюю жердь, к самой земле, к ней. И оттуда, вблизи, увидел то, чего не разглядел издали и чему не хотел верить и вблизи.

Её конец был не впереди. Все эти шесть недель я садился к краю крыши и смотрел в отсутствие конца за стеной седьмой комнаты, привыкал к тому, что бывает место без записанного конца, — а теперь передо мной стоял живой человек, у которого конец был, да лежал не там, где у всех: позади, старый, заросший, тридцати семи лет от роду. Она дышала. Кашляла. Опиралась на дочь. Старела на моих глазах, как стареют живые. И всё это — после собственного конца,

который я помнил закрытым своими глазами.

Я привык, что ошибается время. Что концы сдвигаются, отменяются выбором, приходят раньше срока, а иные не приходят вовсе. К этому я готов — это моя служба, я для того и приставлен, чтобы видеть, как время своевольничает со смертью.

Я не был готов к тому, что время на месте, а человек — нет. Что конец лежит, где положено ему лежать, закрытый, честный, — а тот, кому он положен, стоит у моих ворот, дышит и просит помочь ему наконец умереть.

Глава вторая. Женщина после собственной смерти

Их пустили во двор. Это уже было не как прежде.

Прежде решал Пёс — кого впустить, кого держать; он выходил, обнюхивал, вставал между гостем и воротами, и его «свой» или «чужой» было первым словом двора. Теперь Пёс отступил в сторону и посмотрел на Ягу, а Яга посмотрела на меня, а я не сказал ничего, потому что не знал, что говорить о живой женщине с концом за спиной. Так они и вошли — в тишину, где каждый ждал, что решит другой, где никто не хотел решать первым, наученный тем, что бывает от скорых решений. Дочь ввела мать под руку через ворота, мимо черепов на кольях, — старшая глянула на черепа без страха, как глядят на то, что уже видели во сне, — усадила её на колоду у каменного таза, достала из сумки склянку, отсчитала в ладонь две таблетки и подала матери с водой из фляги. Мать выпила. Дочь смотрела, пока та не проглотила, и только потом убрала склянку, — так смотрят за тем, кто уже обманывал, кто прятал таблетки под язык и сплёвывал, чтоб не пить.

Я сел ближе. Мне надо было понять, что я вижу, а понять я мог только глядя, долго и с разных сторон, как смотрят на узел, который завязан не так, как все узлы.

У старшей — у Веры Андреевны — было три смерти.

Я поясню, потому что это важно и потому что сам не сра-

зу разложил их по местам. У человека бывает одна черта — впереди, ждёт своего часа. У неё было три. Одна позади: старая, заросшая, закрытая, та самая, с дождём и гробом, — она лежала за её спиной, как тень, которая отвязалась от ног и осталась сзади. Одна вокруг тела теперь: тело её кончалось уже несколько раз, я видел следы недавних концов, как видят на коре зарубки топором, — кончалось и почему-то шло дальше, и каждая зарубка была глубже прежней. И одна впереди: настоящая, ещё не пришедшая, тусклая, придавленная первыми двумя так, что едва брезжила, будто ей не давали встать в полный рост, заслоняли собой. Три смерти на одно имя, на одно тело. Ни у кого за всю мою службу я такого не видел. Счёт мой от этого поехал, как едет всякий счёт, когда одно и то же число оказывается разом в двух столбцах и не сходится, сколько ни складывай.

— Меня несколько раз возвращали, — сказала Вера. Она говорила прямо, без жалости к себе, будто рассказывала не про себя, а про дальнюю родню, которую жаль, но издали. — Первый раз — зимой. Сердце встало во сне, под утро. Аня запустила, она умеет. Врачи потом сказали — повезло. Потом ещё раз. И ещё. — Она подняла руку, показала: пальцы разгибались плохо, застревали на середине. — Вот это не вернулось после третьего. И слух с левой стороны не вернулся. И половина того, чем я была, — тоже. Каждый раз возвращаюсь всё меньше себя. Как ведро с дыркой: черпаешь полное,носишь половину.

— Мам, — сказала дочь. Не «замолчи» — просто «мам», тем голосом, которым просят не бередить при чужих.

— Что «мам»? Они спросят — я отвечу. Мне уже нечего беречь. — Вера повернулась к нам, ко всему двору сразу, ко мне на жерди, к Псу, к Коту на столбе, к Жабе у таза, к Яге в дверях. — Я не молодею. Не заживаю. Ничего чудесного во мне нет, не думайте. Просто не могу закончить. Тело хочет умереть — я знаю, что хочет, я его чувствую, оно устало, — а его каждый раз выдёргивают обратно. И я уже не знаю, кто выдёргивает: Аня, врачи или что-то, чему я не хозяйка. Мне сказали, к вам приходят, когда с концом непорядок. У меня с концом непорядок. Больше мне идти некуда, я везде была.

— У вас есть могила, — сказал я.

Не спросил. Я редко спрашиваю о том, что вижу. Могила лежала у неё за спиной все эти годы; я видел её оттуда, из-за плеча живой женщины, — осевший холмик, серый камень, заросшую оградку.

Вера не вздрогнула. Дочь вздрогнула — резко, всем телом, — а мать нет; мать давно отбоялась этого слова.

— Есть, — сказала Вера. — С моим именем. Я её видела. Стояла над ней, как над чужой, читала своё имя на камне и не могла заплакать, потому что не плачут же над собой. — Она усмехнулась коротко, без веселья, одними губами. — Не каждому дают постоять над собственной могилой и уйти оттуда на своих ногах. Мне дали. Я ушла. А она осталась меня ждать. И, видно, дождалась — вот, тянет.

Дочь — Аня — не выдержала. Она встала между матерью и нами, будто заслоняя, и заговорила быстро, как говорят люди, когда боятся замолчать, потому что в тишине придётся думать:

— Слушайте. Я не знаю, что тут у вас, кто вы такие и почему ворона разговаривает, и мне сейчас, честно, всё равно. Мне сказали: последнее место, где могут, — вы. Я объехала с ней всё. Кардиология, неврология, платно, бесплатно, два института, знахарка в Тамбове, батюшка, ещё один батюшка. Никто не понимает, почему она возвращается и почему при этом умирает по-настоящему. Я фельдшер, я двенадцать лет на «скорой», я видела, как уходят и как не уходят, я знаю смерть руками. Так, как с ней, не бывает. Тело умирает — а через минуту, через час запускается само, и каждый раз хуже. Если вы можете — говорите как. Если не можете — так и скажите, и мы поедem дальше. Только не морочьте. У нас нет времени на морочить.

Вот тут я впервые посмотрел на дочь по-настоящему, не мельком.

У неё был обычный конец — далёкий, ровный, здоровый, спрятанный за многими годами. И была связь с матерью, которую я не умею видеть, но о которой мог судить по мелочам: по тому, как она отсчитывает таблетки, не глядя на счёт, привычной рукой; по тому, как смотрит, пока мать глотает; по тому, как заслонила её собой, не подумав. Я связей не вижу. Пёс их чует. Он подошёл, обнюхал руки Ани — не гру-

бо, как знакомятся, ведя носом от запястья к ладони, — и сказал негромко, себе, не ей:

— Она пахнет ею. Не запахом крови — годами. Так пахнут только те, кто жил рядом долго и близко. Чужой так не пропахнет. Это дочь. Настоящая. Годами настоящая.

— Что? — не поняла Аня.

— Ничего, — сказал Пёс. — Говори дальше. Я слушаю.

И это уже был другой Пёс, не тот, что в ту ночь. Тот сказал бы «чужая» или «своя» и встал бы поперёк. Этот слушал и складывал не в «свой—чужой», а в «дочь—мать», и не спешил с приговором. Я отметил перемену. Она мне после ещё как понадобится — и его новая мягкость, и её оборотная сторона.

Яга всё это время молчала у дверей. Потом сказала — и я услышал, как имя тронуло в ней что-то старое, чужое, змеиное:

— Лебедева. Вера Андреевна. — Она произнесла медленно, пробуя на вес, как пробуют, не гнилое ли. — Мост. Кривой брод. Половодье. Автобус ушёл под воду с настила, вместе с попутными. Весна была ранняя, злая. — Она смотрела не на живую Веру, а сквозь неё, туда, назад, в тот год. — Это дело закрыли. Я закрыла. Тел было много, семьи ждали, тепло шло — нельзя было тянуть. Смерть признали завершённой, тела опознали, схоронили, случай закрыт. Давно закрыт.

— Вот, — сказал я. И, к стыду моему, почувствовал об-

легчение — второй раз за эти дни, и опять постыдное. Потому что Яга подтвердила мою память, а память моя — это я, весь, целиком; если память врёт, то и меня нет. Смерть закрыта. Значит, я не ошибся. Значит, женщина передо мной — загадка, задача, а не крушение всего, на чём я стою пять веков. — Дело закрыто. Смерть завершена. Я помню её завершённой. Я был при ней.

— Тогда почему я здесь? — сказала Вера.

Просто спросила. Не с вызовом. С усталостью человека, которому все всё объяснили — и врачи, и батюшки, и знахарка в Тамбове, — кроме одного, главного. Она сидела на колоде, малая, ссохшаяся, с плохо гнушимися пальцами, и задавала вопрос, на который у всего нашего двора, у пятивекового Порога, не было ответа.

Ни Яга не ответила. Ни я. Кот наверху перестал водить когтем по своей коже и тоже молчал. Жаба подобралась к Вере, приложила лапу к её щиколотке — как утром к Ягиной, без спроса, — послушала долго и сказала коротко:

— Тело живое. Изношенное, битое, латаное, но живое. И умирало по-настоящему, не понарошку. Я слышу, где вставало сердце. Несколько раз вставало. — Она подняла голову, и в круглых её глазах не было ни тумана, ни утешения. — И слышу, где встанет снова. Скоро.

— Насколько скоро? — быстро, профессионально спросила Аня, и рука её сама потянулась к сумке со склянками.

— Не в часах, — сказала Жаба. — Я не в часах слышу.

В том, сколько тело ещё готово поднять само. Немного. На доньшке.

Вот тогда я и решил не повторять старой ошибки.

В ту, первую ночь — с Девочкой — я всё говорил надвое. «Может, да, может, нет». «Несколько смертей, ни одна не закончена». Я держал двери открытыми и прятался за возможностями, гордился тем, что не закрываю исхода раньше срока, — а от этой моей недоговорённости Пёс запутался хуже, чем запутался бы от прямого слова, и в путанице сделал непоправимое. Девочка умерла, среди прочего, и оттого, что никто, включая меня, не сказал вовремя прямо. Я поклялся себе тогда, над её останками: недоговорённая правда убивает не хуже лжи. Больше я не буду прятаться за «может быть». Буду говорить, что вижу.

И потому я сказал Вере прямо. То, что видел. То, в чём был уверен, как в собственном имени.

— Потому что ты уже умерла, — сказал я.

Я думал, что говорю честно. Я и вправду говорил честно — я видел закрытый конец за её спиной и назвал его. Я только не знал ещё, что честность у моей двери имеет вес, которого нет у честности прочих; что слово Свидетеля смерти, сказанное над человеком, за которым смерть закреплена, — не наблюдение и не мнение.

Это подпись. Вторая подпись под старой. И старая, тридцать семь лет пролежавшая без движения, её услышала.

Глава третья. Ты уже умерла

Слово упало, и смерть послушалась.

Не сразу — на один вдох позже, ровно на тот вдох, которого Вере уже не хватило. Она открыла рот, будто хотела ответить, и воздух не вошёл. Я видел сверху, как её передняя черта, тусклая, придавленная, дёрнулась назад, к старой, — будто две смерти, тридцать семь лет лежавшие врозь, узнали друг друга через моё слово и потянулись слиться в одну. Сердце встало. Она не схватилась за грудь, не застонала, не сделала ничего из того, что делают люди, когда им больно; просто осела с колоды набок, тихо, мягко, как оседает то, что отпустили держать. Дочь не успела подхватить голову — только тело.

Я не ударил её словом. Я хочу, чтобы это было понято верно, потому что после я долго это распутывал и не сразу распутал. У меня нет власти убивать голосом; будь у меня такая власть, я был бы не Свидетель, а палач, а я не палач. Я сказал то, что было записано и без меня. За её именем стояла закрытая смерть, старая подпись под старым делом, а я — Свидетель смерти; когда я говорю «ты умерла» над тем, за кем смерть закреплена, я не выношу приговор и не открываю ничего нового. Я ставлю вторую подпись рядом с первой. И две подписи под одним делом — это уже не запись, это исполнение. Старая смерть, тридцать семь лет пролежавшая

без хода, при второй подписи проснулась и потянула тело к себе, в ту, заросшую, за спиной лежащую могилу.

Дальше стало быстро, а в быстром я мало гожусь. Я вижу концы. Спасать от них — не моё; я стою при смерти, а не борюсь с ней.

Аня оказалась на коленях возле матери раньше, чем та коснулась земли всем телом. С неё разом слетело всё лишнее — и страх, и злость на меня, и растерянность; осталось одно ремесло, двенадцать лет наработанное руками. Она запрокинула Вере голову, двумя пальцами проверила рот, приложила ухо к губам на один короткий счёт, сцепила руки на груди — одну ладонь на другую, пальцы в замок — и начала. Ровно, с нажимом, счётом, не глядя ни на кого:

— Раз, и два, и три, и четыре... — И, не сбивая счёта, через плечо, нам: — Жаба, или как тебя, дыхание сможешь? Мне некогда рот в рот и качать разом, я одна.

— Смогу, — сказала Жаба и уже была у головы, грузная, быстрая по-своему.

И они стали работать вдвоём — фельдшер с «скорой» и та, что слышит тело изнутри. Странная пара, а слаженная: Аня давила счётом, ровно, как метроном, Жаба вела воздух и слушала, где он отзовётся, где зацепится за жизнь. Аня командовала — «глубже качну, придержи голову», «ещё вдох», — и Жаба слушалась, не переча, потому что над телом Жаба слушается того, у кого руки, а руки были у Ани. Я смотрел сверху и видел то, чего не видели они, занятые телом.

Старый конец разгорелся. Он лежал позади, заросший, — а теперь налился, будто в остывшую золу дунули и она вспомнила, что была огнём; и тянул к себе, вниз, в могилу. Новый конец, тот, что впереди, силился закрыться первым, своим чередом, как положено честной смерти прожившего человека. Но старый был ближе, сильнее, законнее по бумагам Порога — за ним тридцать семь лет и подпись Яги, — и новый не мог его обойти, толкался и не проходил. Между ними что-то держало тело, не давало ни уйти по-старому, ни закрыться по-новому. Я всмотрелся, что держит. Держали руки Ани и воздух Жабы. И держало ещё одно, чего я тогда не назвал, а надо было: тело хотело своей, передней смерти, а его тащили к чужой, задней, и оно упиралось, и в этом упирании была вся его мука.

— Ещё раз скажешь это слово — я тебя с крыши сниму, — сказал Пёс.

Он стоял внизу, подо мной, вздыбив хребет, и смотрел на меня так, как в ту ночь смотрел на дом, когда дом его не слушал. На меня он так ещё не смотрел никогда за всю нашу общую жизнь.

— Я сказал то, что вижу, — ответил я.

— Ты сказал не то, что видишь. Ты сказал то, что помнишь. Это разные вещи, я теперь знаю разницу дорого. — Пёс не отводил глаз, и в них не было злобы, была та тяжёлая трезвость, что осталась в нём после Девочки. — Ты не доказал, что смерть — её. Ты доказал, что она к ней привязана.

Привязана — не значит принадлежит. Я в ту ночь перепутал «узнать» и «назвать», и вон что вышло. Не путай ты «помнить» и «знать, чья».

Он сказал это грубо, не теми точными словами, какими сказал бы Кот, — но сказал верно, и я это отметил, хоть и не принял. Отметил, как отмечают зарубку на дереве, к которой ещё вернёшься, когда пройдёшь круг. Пёс, который в ту ночь рвал зубами неназванное, теперь учил меня не спешить с подписью. Мир перевернулся тихо: тот, кто ошибся первым, стал осторожнее того, кто ещё не понял, что ошибается.

Сердце пошло.

Аня почувствовала это ладонями раньше, чем слышала Жаба, — по толчку под руками; выдохнула, села на пятки, вытерла лоб рукавом, оставив на нём тёмную полосу. Вера втянула воздух — рвано, с хрипом, с тем клёкотом в груди, что бывает у возвращённых, — и открыла глаза, и они не сразу нашли дочь, поплавали и нашли. Когда нашли, Аня не обняла её, не заплакала. Аня сказала только:

— Опять. — И, тише, уже не фельдшер, а дочь: — Дыши ровно. Не рви, не глотай воздух. Ровно.

Вернулась Вера хуже, чем ушла. Это я видел сверху, и это подтвердила Жаба, сухо, как всегда, отняв лапу от груди:

— Левая рука ушла совсем. Была плохая — стала мёртвая. Речь смажется на день-два, язык не слушается. — Она помолчала, собирая самое трудное. — И вот что скажу пря-

мо, вы всё равно спросите: тело так долго не сможет. Ещё две-три такие остановки — и я не подниму. Не оттого, что не сумею. Оттого, что нечего будет поднимать. Оно как рубаха, стиранная сто раз, — ещё стирку-другую, и расползётся в руках.

Аня повернулась ко мне. Медленно. В ней снова собиралась злость — теперь не горячая, а холодная, собранная, страшнее горячей.

— Ты, — сказала она. — Ты это сделал. Сказал слово — и она упала. Я видела. Я стояла и видела, как от твоего слова у живого человека встало сердце.

— Я сказал правду, — ответил я. Всё ещё держась за неё, за правду, как за единственное твёрдое.

— Ты доказал этой своей правдой одно, — сказала Аня, и голос её не дрожал, оттого было хуже. — Что твоей ошибке до сих пор есть дело до моей матери. Тридцать семь лет прошло, а ты пришёл и подписал ещё раз, для верности. — Она встала, заслонив собою мать, хоть я и не думал приближаться. — Называй ошибкой ошибку. Не её. Ошибся ты — а падает она.

Я не принял и этого. Я был ещё уверен, что помню правильно, а раз помню правильно, то и прав; разница между «помню правильно» и «прав» откроется мне позже и дорого, ценой этой женщины, которую я в тот час считал загадкой, а не человеком. Стыдно писать, но так было: я смотрел на неё как на сбой в своём знании, а не как на мать, у которой

только что при дочери встало сердце от чужого слова.

Под ногами Веры земля потемнела.

Избушка вытянула её из-под настила двора — мокрую, чёрную, тяжёлую глину, ту, что бывает только на разрытом весной кладбище. Не всю землю двора — ровное пятно, точно под тем местом, где сидела Вера, обвела её этой землёй, как обводят гроб. Дом почуял старую смерть как живую, действующую, и ответил ей единственным своим языком — достал из глубины Порога землю той могилы. Он не путешествовал во времени, он не умеет; он вытащил вещественный след дела, которое когда-то через него прошло, как вытаскивают из сундука старую вещь по её запаху. И этого пятна мокрой кладбищенской глины посреди сухого летнего двора хватило, чтобы все замолчали, — даже Аня, даже я. Дом сказал без слов то, что мы спорили доказать: смерть, что тянет Веру, — вот она, кладбищенская, при своей земле.

Вера посмотрела на землю под своими ногами. Тронула её плохо гнущимися пальцами. Узнала — я видел, что узнала, как узнают землю, на которой стояли над собственной могилой. И сказала — сипло, язык уже подводил её, но твёрдо, той бытовой прямоотой, которая была у неё вместо всякого оружия и всякой философии:

— Хотите доказательство, что я тут ни при чём? — Она перевела дыхание, длинно, с клёкотом. — Что не я держусь за жизнь, а меня держат? Поедьте на мою могилу. Посмотрите своими глазами, кого вы там держите под моим именем.

Я устала быть одна за двоих.

Глава четвёртая. Могила живой

Поехали не все. Пёс остался — двор нельзя оставлять без того, кто узнаёт входящих, а после первой ночи это правило соблюдают строже прежнего, платой за ту ночь. Он проводил нас до ворот и лёг у столба, и я видел, что остаться ему тяжело: он теперь не любит отпускать своих далеко, наученный тем, как далеко может зайти беда. Яга осталась тоже; сказала, что придёт своим путём, если понадобится, и я не стал спрашивать каким, — она приходит, когда нужна, не по дороге. Поехали четверо: Вера, Аня, Кот и я. Кот — потому что там будет камень, вещи и бумаги, а всё, что можно у кого-то отнять или кому-то приписать, — по его части. Я — потому что там будет смерть, а смерть по моей.

Аня вела машину. Я летел следом, держась чуть позади и выше, чтобы видеть дорогу и их разом.

Я мало бывал за оградой. Свидетелю смерти незачем — смерть сама приходит к Порогу, её не ищут по дорогам. И потому первое, что скажу о внешнем мире: он полон концов, и все они спокойны. У Порога концы кричат, спорят, тянутся, встают на дыбы — туда сходится всё пограничное, всё, что не улеглось. А тут, над дорогой, над деревнями, над проводами и мокрыми полями, — тысячи ровных далёких черт, и каждая ждёт своего часа и не торопит его, и хозяин каждой живёт, не зная о ней, и хорошо, что не знает. Старик колот

дрова у сарая — его черта была в нескольких зимах, спокойная, и он бил колуном и не ведал. Дети стояли на остановке под навесом — их черты лежали далеко, светло, за целой жизнью. Женщина развешивала бельё между двух берёз — ровно, просто, надолго. Я летел над этим спокойствием, и мне было странно: столько смертей внизу, и ни одна не сломана, ни одна не тянет назад, все лежат впереди, как положено. Мир людей оказался не страшнее нашего двора. Он оказался тише. Страшное копится там, где смерти чинят; а тут их не чинили, и оттого тут был покой.

Машина останавливалась дважды. Раз — у заправки, где Аня наливала бензин и говорила по телефону с кем-то, кого называла «диспетчер», отпрашиваясь ещё на день, а потом ещё на день, и по лицу её я видел, что там, на том конце, не рады, но она не уступала. Раз — у обочины, когда Вере стало худо: она сползла по сиденью, Аня свернула, отсчитала таблетки, подождала, придерживая матери голову, и, когда отпустило, поехала дальше, ничего не сказав, будто это дело привычное, дорожное, как долить воды в бачок. Я сидел это время на придорожном столбе и смотрел, как передняя черта Веры то тускнеет совсем, то чуть проступает. Она держалась. Придавленная старой, едва тлеющая, но держалась, не гасла до конца.

Кладбище было старое, сельское, вросшее в косогор над рекой. К таким я, случись пролетать, приглядывался всегда, потому что они мне вняты.

Такие места я вижу иначе, чем люди. Люди видят кресты, ограды, жестяные таблички, банки с водой, где стоят полевые цветы. Я вижу концы — где они лежат ровно, признанные, улёгшиеся, отгоревавшие; где кто-то не дозакрыт и оттого под землёй беспокойно, ворочается; где могила полна телом, а конца в ней нет, потому что человека схоронили, а смерть его так и не назвали своей — редкая, тяжёлая пустота, от которой холодно даже мне. Тут таких почти не было — старое село знало своих мёртвых наперечёт и хоронило правильно, своей рукой, под своим именем, и оттого почти всё лежало ровно, улёгшись. Кладбище было спокойное. Спокойное — до одного места.

Вера знала путь. Это я тоже отметил про себя — как знает дорогу к собственной могиле та, что ходила сюда прежде, стояла над собой. Она шла медленно, опираясь на Аню, сворачивала где надо, не сбилась ни разу, ни на одной развилке тропинок между оград. Дошла до ряда у старой берёзы. Остановилась. И не сразу подняла глаза на камень, будто дала себе ещё миг не смотреть.

Камень был скромный, серый, осевший на один бок так, что весь ряд косил. На нём — имя.

ВЕРА АНДРЕЕВНА ЛЕБЕДЕВА.

Год рождения — верный; я знал его теперь от неё самой, слышал, как она называлась у ворот. Год смерти — тот самый, год половодья и рухнувшего моста. Между двумя датами — девятнадцать лет. Ниже, под датами, — ничего: ни

фотографии в овале, как любят у людей, ни слова, ни креста резного; только имя и два года, как ставят тем, кого хоронят наспех, целой общиной, в один тяжёлый день, когда камни режут разом на семерых и некогда думать о словах.

Я сел на соседнюю оградку и посмотрел вниз, под камень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.